

В. Куайн

Онтологическая относительность*

Перевод и комментарии А.А.Печенкина.

I

Я слушал лекции Дьюи по искусству как опыту, когда был выпускником университета в 1931 г. Дьюи был в Гарварде первым лектором, читавшим цикл лекций им. Вильяма Джемса. Теперь я горжусь, что был первым лектором цикла лекций Джона Дьюи¹.

Философски я был связан с Дьюи через натурализм, являвшийся доминантой его творчества на протяжении трех последних десятилетий его жизни. Вместе с Дьюи я считал, что знание, разум и значение суть части того мира, с которым они имеют дело, и что они должны изучаться в том же эмпирическом духе, который оживляет естественные науки. Для первой философии места нет.

Когда философ натуралистического склада обращается к философии духа, он обязан говорить о языке. Значения суть значения языка. Язык же является социальным искусством, которым мы все овладеваем целиком и полностью на основании явного поведения других людей при общественно распознаваемых обстоятельствах. Однако значения, эти призраки мысленных сущностей, делают сомнительным довод бихевиоризма. Дьюи был предельно ясен в своей позиции: «Значение не является психической сущностью, оно является свойством поведения» (Dewey, 1925, p. 179).

Зафиксировав институт языка в этих терминах, мы увидели, что, однако, не может существовать какого-либо личного языка. Этот момент был отмечен Дьюи еще в 20-х годах. «Монолог, – писал он, – продукт и рефлекс разговора с другими» (там же, с. 170). Позже он объяснял это таким образом: «Язык – это специфический модус взаимодействия по крайней мере двух

* *Quine W.V.O. Ontological Relativity // The Journal of Philosophy. 1968. Vol. LXV, № 7. P. 185–212. Перепечатано: Quine W.V.O. Ontological Relativity and Other Essays. N.Y., 1969. Перевод с сокращениями выполнен по журнальной статье. Пропуски отмечены знаком <...>.*

единиц бытия – говорящего и слушающего, он предполагает организованную группу, к которой эти создания принадлежат и из которой они черпают свой навык речи. Язык – всегда отношение» (там же, с. 185). Годом позже Витгенштейн также отверг личный язык. Когда Дьюи писал в такой натуралистической манере, Витгенштейн еще придерживался своей теории копирования².

Теория копирования (the copy theory) в ее различных формах стоит ближе к основной философской традиции, а также к современной установке здравого смысла. Некритическая семантика является мифом о музее, в котором значения – экспонаты, а слова – ярлыки. Переключиться с одного языка на другой значит сменить ярлыки. Главное возражение натурализма против этой позиции состоит не в том, что значения объясняются как мысленные сущности, хотя и этого возражения достаточно. Главное возражение сохранилось бы даже в том случае, если бы экспонаты под ярлыками были не мысленными сущностями, а платоновскими идеями или даже конкретными объектами – денотатами. Семантика будет страдать от пагубного ментализма, пока мы рассматриваем семантику человека как что-то, определяемое в уме человека, за пределами того, что может быть явно показано в его поведении. Самые сокровенные факты, касающиеся значения, не заключаются в подразумеваемой сущности, они должны истолковываться в терминах поведения.

Познание слова состоит из двух частей. Первая заключается в ознакомлении с его звучанием и в способности воспроизвести его. Это фонетическая часть, которая достигается путем наблюдения и имитации поведения других людей. С этим процессом, по-видимому, все ясно. Другая часть, семантическая, заключается в познании, как использовать это слово. Эта часть даже в парадигмальных случаях, оказывается более сложной, чем фонетическая³. Слово, если брать парадигмальный случай, относится к какому-либо наблюдаемому объекту. Обучаемый должен теперь не только узнать слово фонетически, услышав его от говорящего, он также должен видеть объект и в дополнение к этому, чтобы установить соответствие между словом и объектом,

он должен видеть, что говорящий также видит тот же самый объект. Дьюи формулировал это следующим образом: «Характеристическая теория понимания некоторым *B* звуков, издаваемых *A*, состоит в том, что *B* реагирует на вещи, ставя себя на место *A*» (там же, с. 178). Каждый из нас, изучая язык, учится на поведении своего ближнего. И соответственно, поскольку наши попытки одобряются и корректируются, мы становимся теми объектами, поведение которых изучают наши ближние.

Семантическая часть познания некоторого слова оказывается, стало быть, более сложной даже в простых случаях: мы должны видеть, что стимулирует другого говорящего. В случае же, если слово не непосредственно относится к некоторым наблюдаемым свойствам вещей, процесс обучения становится значительно более сложным и темным; эта темнота и есть питательная среда для менталистской семантики. На чем настаивает натуралист? На том, что даже в сложных и темных случаях изучения языка обучающийся не имеет никаких данных, с которыми он мог бы работать, кроме наблюдаемого поведения других говорящих.

Когда вместе с Дьюи мы принимаем натуралистический взгляд на язык и обращаемся к бихевиористской концепции значения, мы не только отказываемся от музейного модуса речи. Мы отказываемся от уверенности в определенности. Согласно мифу о музее, слова и предложения языка имеют свои определенные значения. Мы открываем для себя значения слов туземца, наблюдая поведение этого туземца. Оставаясь, однако, в рамках мифа о музее, мы считаем, что эти значения определены умом туземца, его ментальным музеем, причем даже в тех случаях, когда поведенческие критерии позволяют нам их идентифицировать. Если мы, с другой стороны, признаем вместе с Дьюи, что «значение есть прежде всего свойство поведения», то признаем, что не существует значений, различия и подобия значений, скрывающихся за пределами наблюдаемых свойств поведения. С позиции натурализма вопрос о том, обладают ли два выражения подобными значениями, не имеет определенного ответа (известного или неизвестного), пока ответ не установлен на

принципиальной базе речевых диспозиций (известных или неизвестных) людей. Если эти стандарты ведут к неопределенному ответу, то таково само значение и подобие значений.

Чтобы показать, какого рода была бы эта неопределенность, предположим, что в некотором далеком (*remote*) языке какое-либо выражение может быть переведено на английский двумя равно защитимыми способами. Я не говорю о неопределенности внутри родного языка. Я допускаю, что одно и то же выражение, употребленное туземцами, может быть по-разному переведено на английский язык, причем каждый перевод может быть отрегулирован за счет компенсирующих корректировок в переводе других слов. Пусть оба перевода, каждый из которых связан со своими компенсирующими корректировками, одинаково хорошо согласуются с наблюдаемым поведением говорящих на туземном языке и говорящих по-английски. Пусть они согласуются не только с наблюдаемым поведением говорящих, но и со всеми их диспозициями к поведению. Тогда в принципе будет невозможно узнать, какой из этих переводов правильный, а какой нет. Если бы миф о музее был верным, то существовал бы и предмет для решения вопроса о правильности одного из переводов. С другой стороны, рассматривая язык натуралистически, нельзя не заметить, что вопрос о правдоподобии значения в данном случае будет просто бессмысленным.

Пока я рассуждал чисто гипотетически. Обращаясь теперь к примерам, начну с одного разочаровывающего и провокационного. Во французской конструкции «*ne ...rien*» *rien* можно перевести на английский по желанию равно как *все* и как *ничто* и затем приспособить свой выбор, переводя *ne* как *нет* или прибегая к многословию. Это разочаровывающий пример, ибо вы можете возразить, что просто взял слишком маленькую единицу французского языка. Вы можете продолжать разделять менталистский миф о музее и заявить, что *rien* само по себе не имеет значения, не являясь полным ярлыком, оно представляет собой часть «*ne ...rien*», которое имеет значение как целое.

Я начал с разочаровывающего примера, ибо думаю, что его бросающаяся в глаза черта – обусловленность слишком малым, чтобы нести значение, сегментом языка – весьма существенна и для более серьезных случаев. Что я имею в виду под более серьезными случаями? Это случаи, в которых сегменты достаточно длинны, чтобы быть предикатами и быть истинными в отношении вещей, следовательно, нести значения.

Искусственный пример, который я уже использовал (Quine, 1960, № 12), обусловлен фактом, что целый кролик наличествует тогда и только тогда, когда наличествует какая-либо неотделимая часть, и тогда и только тогда, когда наличествует ситуация «появления кролика в поле зрения в данный момент времени». Если бы мы поинтересовались, переводится ли туземное выражение «гавагаи» как «кролик», или как «неотделимая часть кролика», или как «появление кролика в поле зрения», мы никогда не смогли бы решить этот вопрос путем остенсии (простого указывания пальцем), то есть просто испытующе повторяя выражение «гавагаи», чтобы получить согласие или несогласие туземца, каждый раз подбирая к этому выражению тот или другой имеющийся в наличии стимул.

Прежде чем разворачивать аргументацию в пользу того, что мы не можем решить вопрос и неостенсивным способом, позвольте мне немного поглумиться над этой остенсивной предикаментой⁴. Я не тревожусь, как тревожился Витгенштейн, по поводу простых случаев указания пальцем (Wittgenstein, 1953, p. 14; Витгенштейн, 1985, с. 101). Красочное слово «сепия» (возьмем один из его примеров) может, конечно, быть заучено обычным путем подбора примеров, или индукции. Мы не нуждаемся даже в том, чтобы нам сказали, что сепия – это цвет, а не форма, или материал, или артикль. Правда, если не прибегать к таким подсказкам, вероятно, потребуется много уроков для того, чтобы исключить неправильные обобщения, базирующиеся на форме, материале и т.д., а не на цвете, и для того, чтобы исключить неправильные представления, касающиеся подразумеваемой границы показанного примера, и для того, чтобы определить границы допустимых вариантов само-

го цвета. Как и всякий подбор примеров, или индукция, этот процесс зависит в конечном счете также от нашей врожденной предрасположенности воспринимать один стимул более родственным второму, нежели третьему; в противном случае никогда не было бы какого-либо селективного усиления или затухания реакции. Все же в принципе ничего, кроме подбора примеров или индукции, не требуется для заучивания «сепии».

Однако между «кроликом» и «сепией» имеется огромная разница, состоящая в том, что «сепия» – термин массы, наподобие «воды», «кролик» же – термин расходящейся референции. С ним как таковым невозможно справиться, не справившись со свойственным ему принципом индивидуализации: где исчезает один кролик и возникает другой. А с этим невозможно справиться путем простого указания пальцем, пусть даже настойчивого.

Таково затруднение с этим «гавагаи»: где один гавагаи исчезает, а другой появляется. Различие между кроликами, неотделимыми частями кроликов и временным наличием кролика в поле зрения лежит исключительно в их индивидуализации. Если выделить целиком дисперсную часть пространственно-временного мира, состоящую из кроликов, другую, состоящую из неотделимых кроличьих частей, и третью, состоящую из наличия кроликов в поле зрения в данный момент времени, то все три раза мы будем иметь дело с одной и той же дисперсной частью мира. Единственное различие заключается в способе деления на части. А этому способу не сможет научить ни остенсия, даже настойчиво повторяемая, ни простой подбор примеров.

Рассмотрим отдельно проблему выбора между «кроликом» и «неотделимой частью кролика» при переводе «гавагаи». Нам не известно ни одного слова туземного языка, кроме того, которое мы зафиксировали, выдвинув рабочую гипотезу относительно того, какие слова туземного языка и жесты туземцев толковать как выражение согласия или несогласия в ответ на наши указывания и вопрошания. Теперь трудность состоит в том, что, когда бы мы ни указывали на различные части кролика, пусть даже закрывая оставшуюся часть кролика, мы все равно каждый раз указываем на целого кролика. Когда

же, наоборот, мы охватывающим жестом обозначаем целого кролика, мы все же указываем на множество его частей. И заметим, что, спрашивая «гавагаи?», мы не можем использовать туземный аналог нашего окончания множественного числа. Ясно, что на этом уровне не может быть найдено даже пробного решения в выборе между «кроликом» и «неотделимой частью кролика».

Как же мы в конце концов решаем этот вопрос? То, что я только что сказал об окончании множественного числа, – это часть ответа. Наша индивидуализация терминов разделительной референции в английском языке тесно связана с кластером взаимосвязанных грамматических частиц и конструкций: окончаний множественного числа, местоимений, числительных, знаков тождества (the "s" of identity) и адаптаций «тот же самый» и «другой». Это кластер взаимосвязанных приспособлений, среди которых центральное место принадлежит квантификации, когда накладывается регламентация символической логики. Если бы мы могли спросить туземца на его языке: «Является ли этот *gavaagai* тем же, что и тот?», – делая тем временем соответствующие неоднократные остенсивные указания, то, действительно, мы бы справились с проблемой выбора между «кроликом», «неотделимой кроличьей частью» и «наличием кролика в поле зрения в данный момент времени». И, действительно, лингвист после многих трудов получает в конечном итоге возможность спросить, каковы смыслы, содержащиеся в этом вопросе. Он развивает контекстуальную систему для перевода в туземное наречие нашего множественного числа, числительных, тождества и родственных приспособлений. Он развивает такую систему путем абстракций и гипотез. Он отделяет частицы и конструкции туземного языка от наблюдаемых туземных предложений и пытается сопоставить их тем или иным образом с английскими частицами или конструкциями. Поскольку предложения туземного языка и ассоциированные с ними лингвистом предложения английского языка, по всей видимости, подходят друг к другу в плане использования их в соответствующих си-

туациях, постольку наш лингвист ощущает подтверждение своих гипотез перевода. Я называю эти гипотезы аналитическими (Quine, 1960, p. 15).

Однако этот метод при всем его практическом достоинстве и при том, что он – лучшее из всего того, на что мы можем надеяться, по всей видимости, не решает в принципе проблему неопределенности перевода, неопределенности между «кроликом», «неотделимой частью кролика» и «временным появлением кролика в поле зрения». Ибо если одна рабочая полная система аналитических гипотез обеспечивает перевод данного туземного выражения в «то же самое, что...», то не исключено, что другая равно работоспособная, но систематически отличающаяся система переводит это туземное выражение в нечто подобное «сочетается с...» Таким образом, не исключено, что когда мы на туземном языке пытаемся спросить: «Является ли этот гавагаи тем же самым, что и тот?», – мы на деле спрашиваем: «Сочетается ли этот *гавагаи* с тем?» Ведь одобрение со стороны туземца не является объективным доказательством для перевода «гавагаи» как «кролик», а не «кроличья часть» или «появление кролика в поле зрения в данный момент времени». Этот искусственный пример имеет ту же структуру, что и приведенный выше пример: «ne ... rien». Мы могли перевести «rien» как «все» или как «ничего» благодаря компенсирующему обращению с «ne». И я полагаю, что мы можем перевести «гавагаи» как «кролик» или как «неотделимая часть кролика», или как «появление кролика в поле зрения в данный момент времени» благодаря компенсирующей регулировке в переводе сопровождающих оборотов речи. Другие регуляции могли бы означать перевод «гавагаи» как «крольчонок» или каким-либо иным выражением. Я нахожу это принципиально достижимым, учитывая подчеркнуто структурный и контекстуальный характер любых соображений, способных вести нас к переводу на туземный язык английского кластера взаимосвязанных приспособлений индивидуализации. По всей видимости, всегда обязаны существовать самые разные возможности выбора перевода, каждая из которых справедлива при всех диспозициях к вербальному поведению со стороны всех, имеющих к этому отношение.

Лингвисту, проводящему полевые исследования, конечно, хватило бы здравого смысла, чтобы поставить знак равенства между «гавагаи» и «кролик», вынося за пределы практики такие изоцированные альтернативы, как «неотделимая часть кролика» и «появление кролика в поле зрения в данный момент времени». Этот выбор, диктуемый здравым смыслом, и другие подобные ему помогли бы в свою очередь определить последующие гипотезы, касающиеся того, какие обороты речи туземного языка должны были бы соответствовать аппарату индивидуализации английского языка, и все, таким образом, пришло бы в полный порядок. Неявная максима, направляющая выбор «кролика» и такие же выборы для других слов туземного языка, состоит в том, что достаточно стабильный и гомогенный объект, передвигающийся как единое целое на контрастирующем фоне, представляет собой весьма вероятный референт короткого выражения. Если бы лингвист осознавал эту максиму, он, вероятно, возвел бы ее до уровня лингвистической универсалии или характерной особенности всех языков. Зачем ему вникать в ее психологическую навязчивость? Он, однако, был бы не прав; эта максима – его собственное измышление, позволяющая вносить определенность в то, что объективно неопределенно. Это очень разумное измышление, и я не могу порекомендовать ничего другого. Я только сделаю одно замечание философского характера.

С философской точки зрения интересно, кроме всего прочего, то, что в этом искусственном примере недоопределено не значение, а экстенционал, референция⁵. Мои замечания о неопределенности первоначально ставили под удар подобие значений. Вы у меня воображали «выражение, которое могло бы быть переведено на английский в равной степени убедительно каждым из двух выражений, обладающими в английском языке несходными значениями». Разумеется, подобие значений – туманное представление, вызывающее сомнение. Относительно двух предикатов, обладающих подобными экстенционалами, нельзя сказать с уверенностью, подобны ли их значения или нет; вспомним старый вопрос о беспёром двуногом и разумном животном или о

равноугольном или равностороннем треугольниках. Референция, экстенционал – твердо установимое; значение, интенционал – не твердо установимое. Неопределенность перевода снова приводит нас к различию между экстенционалами. Термины «кролик», «неотделимая кроличья часть» и «наличие кролика в поле зрения в данный момент времени» различаются не только по своим значениям, это действительно различные предметы. Сама референция оказывается поведенчески непознаваемой.

В узких пределах нашего собственного языка мы можем продолжать считать экстенциональный предмет беседы более ясным, чем ее интенциональный предмет. Ибо неопределенность между «кроликом», «кроличьей частью» и остальным зависит исключительно от коррелятивной неопределенности перевода аппарата индивидуализации английского языка – аппарата местоимений, множественного числа, тождества, числительных и т.д. Пока мы мыслим этот аппарат данным и фиксированным, никакая неопределенность не дает себя знать. Принимая этот аппарат, мы не испытываем трудностей с экстенционалом: термины имеют один и тот же экстенционал, если они действительно относятся к тождественным предметам. В свою очередь, на уровне радикального перевода сам экстенционал становится загадочным, неопределенным. <...>

Остенсивная неразличимость абстрактной сингулярности от конкретной общности оборачивается тем, что может быть в отличие от непосредственной остенсии названо смещенной остенсией (*deferred ostension*). Точкой остенсии я буду называть точку, в которой линия указывающего пальца впервые пересекает непрозрачную поверхность. Тогда непосредственной остенсией будет такая, при которой термин, остенсивно объясняемый, действительно относится к тому, что содержит точку остенсии. Даже эта непосредственная остенсия заключает в себе неопределенности, и эти неопределенности общеизвестны. Ведь заранее не ясно, в каких размерах должна мыслиться окружающая среда точки остенсии, чтобы быть охваченной термином, остенсивно объясняемым. Неясно также, насколько далеко предмет

или вещество могут отстоять от того, на что сейчас направлена оstenсия, чтобы все же быть охваченными термином, оstenсивно объясняемым. Обе эти неясности в принципе могут быть устранены путем индукции через неоднократные оstenсии. Также, если термин – термин делимой референции, вроде «яблоко», то возникает вопрос об индивидуализации, т.е. вопрос о том, где один объект заканчивается, а другой начинается. Это тоже может быть улажено путем индукции через неоднократные оstenсии более утонченного вида, сопровождаемые выражениями вроде «то же самое яблоко» и «другое», но улажено в том случае, если эквивалент аппарата индивидуализации английского языка установлен, в противном случае неопределенность сохраняется, что иллюстрирует пример с «кроликом», «неотделимой кроличьей частью» и «появлением кролика в поле зрения в данный момент времени».

Такова ситуация с непосредственной оstenсией. Другой тип оstenсии я называю смещенной (*deferred*) оstenсией. Она имеет место, когда мы указываем на канистру, а не на бензин, чтобы показать, что там бензин. Она также имеет место, когда мы объясняем абстрактный сингулярный термин «зеленый» или «альфа», указывая на траву или на греческую надпись. Такое указание является непосредственной оstenсией, когда оно используется, чтобы объяснить конкретные общие термины «зеленый» или «альфа», но будет смещенной оstenсией, когда используется, чтобы объяснить абстрактные сингулярные термины; ибо абстрактный объект, будь то цвет или буква «альфа», не содержит ни точку оstenсии, ни вообще какую-либо точку.

Смещенная оstenсия весьма естественно возникает тогда, когда, как в случае канистры с бензином, мы держим соответствие в уме. Другой пример такого рода дает гёделевская нумерация выражений. Таким образом, если 7 приписывается в качестве гёделевского номера⁶ букве «альфа», человек, вместивший в свое сознание гёделевскую нумерацию, без колебания говорит «семь», указывая на написание рассматриваемой греческой буквы. Ясно, что это уже дважды смещенная оstenсия: первая ступень смещения переводит

нас от надписи к букве как абстрактному объекту, вторая ведет нас от него к этому номеру.

Обращаясь к нашему аппарату индивидуализации, если он доступен, мы можем различать между конкретно общим и абстрактно сингулярным использованием слова «альфа»; это мы видели. Обращаясь снова к этому аппарату и, в частности, к аппарату тождества, мы, очевидно, можем решать также, использовано ли слово «альфа» в его абстрактном сингулярном смысле, чтобы именовать гёделевский номер буквы. В любом случае мы можем различать эти альтернативы, если мы, к нашему удовлетворению, локализовали также эквивалент того, что говоривший назвал номером «7», ибо мы можем спросить его: действительно ли альфа есть 7.

Эти соображения показывают, что смещенная остенсия не добавляет новых существенных проблем к тем, которые встают при непосредственной остенсии. Коль скоро мы установили аналитические гипотезы перевода, охватывающие тождество можем и другие английские частицы, относящиеся к индивидуализации, мы разрешить не только затруднения с «кроликом», «попаданием кролика в поле зрения в данный момент времени» и остальным, но также и с выражением и его гёделевским номером – затруднения, возникающие при смещенной остенсии.

Это заключение, однако, слишком оптимистично. Непознаваемость референции проникает глубоко и сохраняется в своей утонченной форме, даже если мы примем в качестве зафиксированных и установленных тождество и остальной аппарат индивидуализации; даже если мы откажемся от радикального перевода и будем думать только об английском языке.

Рассмотрим ситуацию вдумчивого протосинтактика. В его распоряжении имеется система теории доказательства первого порядка, или протосинтаксис, чей универсум включает в себя только выражения, т.е. цепочки знаков некоего специального алфавита. Что же, однако, представляют собой эти выражения? Они суть изображения, символы (types), а не знаки (tokens)⁷. Конечно, можно предположить, что каждый из них представляет множество

всех своих знаков. Иными словами, каждое выражение есть множество записей, по-разному размещенных в пространстве–времени, но сгруппированных вместе в силу их убедительного сходства в начертании. Связка \hat{xy} двух выражений, в данном порядке, будет множеством всех записей, каждая из которых состоит из двух частей, которые суть знаки x и соответственно y , следующих одна за другой в указанном порядке⁸. Но в таком случае \hat{xy} может быть пустым множеством, хотя x и y не пусты; ибо может статься, что записи, принадлежащие x и y , не следуют нигде в этом порядке и не следовали в прошлом и не будут следовать в будущем. Эта опасность возрастает с увеличением размеров x и y . Нетрудно видеть, что она приводит нарушению закона протосинтаксиса говорящего, что $x = z$ всякий раз, когда $\hat{xy} = \hat{zy}$.

Таким образом, наш вдумчивый протосинтаксис не будем истолковывать предметы своего универсума как множество записей. Он может, правда, рассматривать атомы, единичные знаки в виде множества записей, ибо в таких случаях не будет риска иметь дело с пустотой. И затем вместо того чтобы принимать в качестве множеств записей свои цепочки знаков, он может привлечь математическое понятие последовательности и трактовать эти цепочки как последовательности знаков. Известный способ трактовки последовательностей состоит в отображении их элементов на числовую ось. При таком подходе выражение или цепочка знаков становится конечным множеством пар, каждая из которых является парой из знака и числа.

Такое представление выражений искусственно и более сложно, чем то, которое возникает, если допустить, что переменные пробегают цепочки таких-то и таких-то знаков. Более того, это не неизбежный выход из положения; соображения, его мотивировавшие, могут быть учтены также в альтернативных конструкциях. Одна из этих конструкций – сама гёделевская нумерация, и она заметно более проста. Она использует только натуральные числа, в то время как упомянутая выше конструкция использует множества однокбуквенных записей, а также натуральные числа и множества пар этих эле-

ментов. Каким же образом становится ясно, что именно в *этом* случае мы отказались от выражений в пользу чисел? То, что ясно теперь, – это только то, что в обеих конструкциях мы искусственно изобретаем модели, удовлетворяющие тем законам, которым наши выражения в некотором неэксплицированном смысле обязаны удовлетворять. <...>

Так много приходится говорить о предложениях. Рассмотрим теперь арифметика с его элементарной теорией чисел. Его универсум просто и ясно состоит из натуральных чисел. Но более ли он ясен, чем универсум протосинтаксиса? Что же представляют собой натуральные числа? На этот счет имеются версии Фреге, Цермело и фон Неймана. Все эти версии взаимно несовместимые, но в одинаковой степени правильные. То, что производится в любой из названных экспликаций натурального числа, состоит в сооружение теоретико-множественной модели, удовлетворяющей законам, которым натуральные числа должны по идее в некотором неэксплицированном смысле удовлетворять. Этот случай совершенно аналогичен протосинтаксису⁹.

II

Я впервые убедился в непознаваемости референции с помощью примеров вроде примера с кроликом и частью кролика. В них была прямая остенсия, а непознаваемость референции была связана с неопределенностью перевода тождества и других приспособлений индивидуализации. Ситуация, заложенная в этих примерах, была ситуацией радикального перевода, перевода с далекого (от родного) языка, опирающегося лишь на данные поведения, при отсутствии направляющего наперед данного словаря. Делая затем шаг к смещенной остенсии и абстрактным объектам, мы обнаружили некоторую непрозрачность референции, свойственную и родному языку.

Теперь можно сказать, что даже в предыдущих примерах обращение к далекому языку было не слишком существенно. По более глубоком размышлении оказывается, что проблема радикального перевода начинается уже в родном языке. Должны ли мы ставить знак равенства между английскими

словами, произносимыми нашим ближним, и той же самой цепочкой фонем в наших устах? Конечно, нет; порой мы и не приравниваем одно к другому. Иногда мы обнаруживаем, что наш ближний использует некоторое слово, такое, как «холодный», «квадратный» или «обнадеживающе», не так, как мы, так что мы переводим это слово в иную цепочку фонем в нашем идиолекте. Наши внутренние (характерные для родного языка) правила перевода в действительности омофоничны. Эти правила просто заключают в себе каждую цепочку фонем. Но мы все же всегда готовы сдержать омофонию посредством того, что Нейл Вильсон назвал «принципом отзывчивости (chaity)» (Wilson, 1959, p. 532). Время от времени мы толкуем слово, произнесенное ближним, гетерофонически, если видим, что это делает его речь, обращенную к нам, менее абсурдной.

Омофоническое правило всегда под рукой. Не случайно, что оно так хорошо работает, ведь имитация и обратная связь – это то, что способствует передаче, распространению языка. Мы получили огромный фонд базовых слов и фраз, имитируя наших старших и замечая признаки одобрения с их стороны, коль скоро в новой обстановке мы подходящим образом употребляем фразы. Омофонический перевод неявно включен в этот социальный метод обучения. Отклонение от этого перевода расстроило бы коммуникацию. Все же существуют относительно редкие случаи противоположного рода, когда по причине расхождений в диалектике или путаницы с индивидами омофонический перевод возбуждает отрицательную обратную связь. Но что позволяет ему оставаться в принципе незамеченным – это наличие обширной промежуточной области, где этот омофонический метод нейтрален. В этой области мы можем систематически по нашему желанию перетолковывать видимые ссылки нашего ближнего на кроликов как его ссылки действительно на появление кролика в поле зрения в данный момент времени и его видимые ссылки на формулы как его ссылки действительно на гёделевские номера, и наоборот. Мы можем примирить все это с вербальным поведением нашего ближнего, хитро перестраивая наши переводы различных предикатов так,

чтобы компенсировать переключение онтологии. Короче, мы можем и в родном языке воспроизвести непрозрачность референции. И бесполезно уточнять эти вымышленные варианты значений, подразумеваемых нашим ближним, спрашивая его, скажем, о том, что он реально подразумевает в своем высказывании – формулы или гёделевские номера, ибо и наш вопрос, и его ответ («Конечно же, номера») уже выходит за рамки области, обозначаемой как омофонический перевод. Проблемы перевода в родном языке не отличаются от проблем так называемого радикального перевода, за исключением тех случаев, когда прерывание омофонического перевода оказывается желательным.

В защиту бихевиористской философии языка Дьюи я настойчиво предупреждаю, что непознаваемость референции не означает непостижимости факта, здесь вопрос не о факте. Однако если это действительно вопрос не о факте, то непознаваемость референции может быть замечена даже еще ближе, нежели при общении с ближним, мы можем обнаружить ее и у самих себя. Если осмысленно говорить о себе, что, имея в виду кроликов и формулы, я не имею в виду кролика, находящегося в поле зрения, и гёделевские номера, то столь же осмысленно говорить это и о ком-нибудь другом. Ведь не существует, как говорил Дьюи, личного языка.

Мы, кажется, поставили себя в весьма абсурдное положение, в котором отсутствует какое-либо различие – межлингвистическое и внутрилингвистическое, объективное и субъективное – между ссылками на кроликов или ссылками на их гёделевские номера. Конечно же, это абсурдно, ибо отсюда следует, что нет разницы между кроликом и каждой его частью или его присутствием в поле зрения и нет разницы между формулой и ее гёделевским номером. Референция кажется теперь бессмысленной не только при радикальном переводе, но и при общении на родном языке.

Намереваясь разрешить это недоумение, начнем с того, что представим себе самих себя, свободно владеющих родным языком со всеми его предикатами и вспомогательными приспособлениями. Наш словарь включает выра-

жения «кролик», «часть кролика», «кролик в поле зрения», «формула», «номер», «бык», «крупный рогатый скот»; включает двуместные предикаты тождества и различия, а также другие логические частицы. В этом языке мы можем сказать множеством слов, что это формула, а то номер, это кролик, а то часть кролика, что этот и тот – один и тот же кролик, а эта и та – различные части. *Сказать именно теми словами.* Эта сеть терминов и предикатов, а также вспомогательных приспособлений представляет собой, если употребить жаргон физического релятивизма, систему отсчета, или координатную систему. Относительно *нее* мы можем осмысленно и отчетливо говорить и действительно говорим осмысленно и отчетливо о кроликах и их частях, номерах и формулах. Далее... мы обдумываем альтернативные денотации для знакомых нам терминов. И начинаем понимать, что искусная перестановка этих денотаций, сопровождающаяся компенсирующими допущениями в интерпретации вспомогательных частиц, может вместить все речевые диспозиции. Мы столкнулись с непрозрачностью референции, примененной к нашей собственной референции. Эта непрозрачность делает референцию бессмысленной. Это справедливо: референция бессмысленна до тех пор, пока она не соотнесена с некоторой координатной системой. В этом принципе относительности заключено разрешение нашего недоумения.

Бессмысленно спрашивать вообще, ссылаются ли термины «кролик», «часть кролика», «номер» и т.д. действительно на кроликов, кроличьи части, номера и т.д., а не на некоторые бесхитростно переставленные денотаты. Такой вопрос бессмысленно ставить абсолютно, мы можем осмысленно задавать его только относительно некоторого предпосылочного языка. Когда мы спрашиваем: «кролик» действительно относится к «кроликам»? – то правомерен контрвопрос: в каком смысле слово «кролик» относится к «кроликам»? – и таким образом начинается регресс. Мы нуждаемся в некотором предпосылочном языке, чтобы остановить регресс. Предпосылочный язык дает нам искомый смысл (*query sense*), хотя бы относительный смысл, относительный в обращении к этому предпосылочному языку. Вопросать о референции ка-

ким-либо абсолютным способом – почти то же самое, что вопрошать об абсолютном положении, абсолютной скорости, а не о положении и скорости относительно данной системы отсчета. Это во многом походило бы на вопрошание о том, что никогда нельзя было в действительности обнаружить, а именно, может или нет наш ближний видеть мир исключительно вверх ногами или в иных, дополнительных к нашим, цветах.

Итак, мы нуждаемся в предпосылочном языке, чтобы осуществлять к нему регресс. Но не вовлекаемся ли мы теперь в бесконечный регресс? Если вопросы о референции, обсуждаемой нами, осмысленны только относительно предпосылочного языка, то, очевидно, вопросы о референции для предпосылочного языка в свою очередь осмысленны относительно некоторого дальнейшего предпосылочного языка. Описанная таким образом ситуация звучит как безнадежная, но фактически она мало отличается от вопросов о пространственной координате и скорости. Когда нам даны пространственная координата и скорость относительно данной системы координат, мы в свою очередь всегда можем спросить о положении начала этой системы координат и ориентации ее осей, и нет предела последовательности дальнейших координатных систем, которые могли бы приводиться в ответ на последовательность таким образом формулируемых вопросов.

На практике, конечно, мы останавливаем регресс координатных систем чем-то вроде указания пальцев. И на практике мы, обсуждая референцию, останавливаем регресс предпосылочных языков, достигая нашего родного языка и принимая его слова за чистую монету.

Ну, хорошо, что касается положения и скорости, то указание пальцем практически прерывает регресс. Но что можно сказать о положении и скорости безотносительно к практике? Что будет с регрессом тогда? Ответом, разумеется, является реляционная доктрина пространства; не существует абсолютных положения и скорости; существуют лишь отношения координатных систем друг к другу и в конечном итоге предметов друг к другу. И я думаю, что аналогичный вопрос, касающийся денотации, требует аналогичного от-

вета, а именно, реляционной теории о том, что представляют собой объекты теории. Смысл имеет вопрос не о том, что собой представляют объекты теории с абсолютной точки зрения, а о том, как одна теория объектов интерпретируется и переинтерпретируется в другую.

Речь не идет о непрозрачности самого предмета как такового, т.е. не о том, что предметы неразличимы, если неразличимы их свойства. Не этот вопрос нуждается в обсуждении. Вопрос, подлежащий обсуждению, гораздо лучше выражен в загадке, видит ли кто-нибудь мир вверх ногами, или видит ли кто-нибудь мир окрашенным в иные цвета, дополнительно к нашему цветовому восприятию; ибо предметы могут непостижимым образом изменяться, тогда как все их свойства останутся при них. В конце концов кролик отличается от части кролика и от кролика, находящегося в поле зрения в данное время, не как голый предмет, а в отношении своих свойств, и формулы отличаются от номеров в отношении их свойств. Наша рефлексия заставляет нас понять, что к загадке, о которой мы говорили, следует относиться со всей серьезностью и помнить, что мораль, извлекаемая из нее, имеет широкую область применимости. Повторю еще раз. Релятивистский тезис, к которому мы пришли, состоит в следующем: нет смысла говорить о том, что представляют собой объекты теории сами по себе, за пределами обсуждения вопроса о том, каким образом интерпретировать или переинтерпретировать одну теорию в другую. Предположим, мы работаем внутри некоторой теории и таким образом трактуем ее объекты. Мы делаем это, используя переменные данной теории, значениями которых являются эти объекты, хотя и не существует того подлинного смысла, в котором этот универсум может быть специфицирован. В языке теории существуют предикаты, посредством которых одна часть этого универсума отличается от другой, и эти предикаты отличаются один от другого чисто по тем ролям, которые они играют в законах теории. Внутри такой предпосылочной теории мы можем показать, как некоторая субординированная теория, чей универсум является какой-то частью предпосылочного универсума, может путем переинтерпретации быть сведена к другой суб-

ординированной теории, универсум которой будет меньшим по сравнению с первой частью. Такой разговор о субординированных теориях и их онтологиях осмыслен, но лишь относительно предпосылочной теории с ее собственной примитивно выбранной и в конечном счете непрозрачной онтологией.

Итак, разговор о теориях поднимает проблему формулирования. Теория представляет собой множество полностью интерпретированных предложений (точнее, оно является дедуктивно замкнутым множеством: включает все свои собственные логические следствия, поскольку они выражены в тех же самых обозначениях). Но если предложения теории полностью интерпретированы, то, в частности, области значений их переменных установлены. Почему же тогда бессмысленно говорить, каковы объекты теории?

Мой ответ состоит в том, что мы не можем иначе, чем в относительном смысле, требовать, чтобы теория была полностью интерпретирована. Если вообще рассматривать нечто как теорию. Специфицируя теорию, мы должны полностью своими собственными словами охарактеризовать, какие предложения должны включаться в теорию, какие предметы должны служить в качестве значений переменных и какие предметы следует брать в качестве удовлетворяющих предикатным буквам; таким образом, мы действительно полностью интерпретируем теорию *относительно* наших собственных слов и относительно нашей всеохватывающей домашней (home) теории, лежащей за ними. Но эта интерпретация фиксирует объекты описываемой теории только относительно объектов домашней теории; и последние могут в свою очередь рассматриваться на предмет их интерпретации.

Возникает искушение заключить, что просто бессмысленно пытаться высказываться обо всем в нашем универсуме. Ведь такая универсальная предикация получает смысл, только когда она оснащена предпосылочным языком более широкого универсума, где эта предикация более не универсальна. В принципе это известная доктрина, доктрина о том, что отсутствует собственный (proper) предикат, истинный на всех предметах. Мы все слышали о том, что предикат осмыслен только при сопоставлении с тем, что он исклю-

чает, и, следовательно, бытие истинным на всех предметах сделало бы предикат бессмысленным. Но, конечно же, это доктрина ложная. Ясно, например, что самоидентичность не может отвергаться как бессмысленная. По этой причине любое утверждение о факте, как бы brutally осмысленным оно ни было, может быть искусственно переведено в форму, в которой оно высказывается о всех предметах. Например, просто сказать о Джоунзе, что он поет, значит сказать обо всем, что отлично от Джоунза и от песнопения. Лучше мы поостережемся отказать от универсальной предикации, чтобы не попасть в сети, заставляющие отказать от всего, высказываемого обо всем.

Карнап принял промежуточную линию в своей доктрине универсальных слов (Allwörter), изложенной в «Логическом синтаксисе языка». Он действительно трактовал предикцию универсальных слов как «квазисинтаксическое», как предикацию только по обычаю и без эмпирического содержания. Но универсальные слова для него – не просто любые универсально истинные предикаты, вроде «другое, чем Джоунз и песнопение». Они суть специальная порода универсально истинных предикатов, таких, которые универсально истинны в силу абсолютных (явных) значений их слов, но не благодаря природе. В его последующих работах доктрина универсальных слов приняла форму различия между «внутренними» вопросами, в которых теория овладевает фактами о мире, и «внешними» вопросами, в которых люди постигают относительное достоинство теорий¹⁰.

Могли бы эти различия Карнапа пролить свет на онтологическую относительность? Коль скоро мы обнаружили, что не существует абсолютного смысла в высказываниях о содержании теории, будет ли осмысленной для нас нефактуальность того, что Карнап назвал «внешними вопросами»? А коль скоро мы обнаружили, что высказывания о содержании теории имеют смысл лишь относительно некоторой предпосылочной теории, будет ли тогда осмысленной фактуальность внутренних вопросов предпосылочной теории? На мой взгляд, прояснение этих вопросов безнадежно. Карнаповские универ-

сальные слова – это не универсально истинные предикаты, но, как я сказал, это особая порода; но что отличает ее как особую породу, не ясно. Я различил их, сказав, что они универсально истинны исключительно в силу значений, а не природы; но это различие весьма сомнительно. А говорить о «внутренних» и «внешних» вопросах – тоже не выход.

Какие-либо различия между типами универсальных предикатов – нефактуальными и фактуальными, внешними и внутренними – не проясняют онтологическую относительность. И это не вопрос универсальной предикации. Если вопросы, касающиеся онтологии теории, абсолютно бессмысленны и становятся осмысленными только относительно некоторой предпосылочной теории, то это, вообще говоря, не в силу того, что предпосылочная теория имеет более широкий универсум. Предположить, что это так, очень сомнительно, но, как я сказал несколько выше, это не верно.

То, что делает онтологические вопросы бессмысленными, если они рассматриваются абсолютно (а не относительно), – это не их универсальность, а их свойство быть логическим кругом. Вопрос в форме «Что есть F ?» («What is an F ?») может получить ответ только обращением к следующему термину « F есть G » («An F is a G »). Ответ имеет только относительный смысл: смысл, относительный к некритическому принятию G .

Мы можем изобразить словарь теории содержащим логические знаки, такие, как кванторы, знаки истинностных функций и тождества, а также дескриптивные или нелогические знаки, которые, как правило, являются сингулярными терминами, или именами, и общими терминами, или предикатами. Допустим, далее, что в предложениях, составляющих теорию, т.е. истинных в этой теории, мы абстрагируемся от значений нелогических терминов и от областей значения переменных. Мы останемся с логической формой теории или с тем, что я называю *теоретической формой* (theory-form). Теперь мы можем интерпретировать эту теоретическую форму заново, подбирая новый универсум, который будет пробегать ее квантифицированные переменные, приписывая объекты из этого универсума именам, выбирая подмноже-

ства этого универсума в качестве экстенционалов одноместных предикатов, и т.д. Каждая такая интерпретация теоретической формы называется ее моделью, если эта форма истинна при этой интерпретации. Какая из этих моделей подразумевается в данной реальной теории, не может, разумеется, быть угадано по ее теоретической форме. Предполагаемые референции имен и предикатов должны узнаваться скорее путем остенсии или, может быть, путем переформулировки в каком-либо прежде знакомом нам словаре. Однако первый из двух названных способов оказывается неубедительным, поскольку даже если оставить в стороне неопределенность перевода, касающуюся тождества и других логических слов, существует проблема смещенной остенсии. Единственным нашим прибежищем тогда остается переформулировка в некотором ранее известном словаре. Но ведь это онтологическая относительность. Спрашивать о референции всех терминов нашей всеохватывающей теории бессмысленно просто из-за недостатка дальнейших терминов, относительно которых задают вопрос или отвечают на него.

Тем самым бессмысленно в пределах теории говорить, какая из различных возможных моделей нашей теоретической формы есть реальная или подразумеваемая модель. Однако даже здесь мы можем еще придать смысл наличию многих моделей. Ибо мы можем показать, что для каждой из моделей, какой бы неспецифицированной она ни была, должна существовать другая, которая будет ее перестановкой или, может быть, сужением.

Пусть, например, наша теория чисто нумерическая. Ее объектами являются только натуральные числа. В пределах этой теории бессмысленно говорить, какая из различных моделей теории чисел действительна. Но, даже оставаясь в пределах этой теории, мы можем заметить, что какими бы ни были 0, 1, 2, 3 и т.д., теория остается истинной, если 17 в этом ряду будет передвинуто на роль 0 и 18 передвинуто на роль 1 и т.д.

В самом деле, онтология дважды относительна. Определение универсума теории оказывается осмысленным лишь относительно некоторой предпосылочной теории и лишь относительно некоторого выбора способа пере-

вода одной теории в другую. Обычно, конечно, предпосылочная теория есть просто содержательная теория, и в этом случае вопрос о способе перевода не возникает. Но ведь это лишь вырожденный случай перехода – случай, когда правило перевода является омофоническим.

Цитированная литература

Витгенштейн Л. Философские исследования (отрывок) / Пер. с нем.

С.А.Крылова // Новое в зарубежной лингвистике. 1985. Вып. XVI. С. 79–154.

Dewey J. Experience and Nature. La Salle. Ill. Open Court, 1925.

Quine W.V.O. Word and Object. Cambridge (Mass.), 1960 (русский перевод «Слово и объект» содержит много неясностей).

Wilson N.L. Substances without Substrata // Review of Metaphysics. 1959.
Vol XII, № 4.

Wittgenstein L. Philosophical Investigations. N.Y.: Macmillan, 1953.

Комментарии

¹ В. Куайн указывает на ту традицию в философской мысли, которая стоит за ним

² Речь идет о концепции соотношения языка и мира, изложенной в «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейна. В нашей литературе эта концепция иногда именуется концепцией изоморфизма. «Совокупность предложений есть язык... Предложение – образ действительности... Предложение показывает логическую форму действительности» (*Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат. М.: Изд-во иностр. лит., 1958. С. 44, 45, 51).

³ Парадигмальных – здесь достаточно простых и наглядных, чтобы служить характерными примерами.

⁴ Предикамента (predicamenta) – основная категория в отличие от производной (предикамбилии). Здесь: область действительности, выделенная по способу определения путем остенсии, т.е. указания пальцем.

⁵ Традиционно в семантике различают два уровня значения термина или имени: смысл и значение, концепт и денотат. Второй термин обозначает класс предметов, обозначаемых данным термином (именем), первый – ту информацию об этом классе, которую несет термин (имя). В зависимости от концепции семантики смысл этой пары меняется и вводится иная терминология. У Куайна значение – тот способ поведения, который отвечает данному имени, референции, экстенционал – тот предмет, к которому относится это имя. Куайн подчеркивает здесь, что неопределенность радикального перевода означает не просто неопределенность значения, но и неопределенность референции, невыясняемость предмета, к которому относится имя.

⁶ Понятие гёделевского номера вводится следующим образом. «По чисто техническим соображениям нам будет удобнее рассматривать формализацию системы Z в форме, несколько отличной от описанной выше... Согласно новым правилам образования, имеется ровно 9 исходных символов

$$\in, x, |, \sim, \supset, \equiv, A, (,).$$

Сопоставим этим символам, взятым, скажем, в перечисленном порядке, цифры от 1 до 9, а каждому выражению (конечной последовательности символов) сопоставим в качестве гёделевского номера число, записываемое соответствующей последовательностью цифр. Такое сопоставление является, очевидно, взаимно однозначным» (*Френкель А., Бар-Хиллел И. Основания теории множеств. С. 359*).

⁷ Куайн здесь следует Ч. Пирсу, который использует термин «token» для обозначения знаков в конкретном смысле (знаки, написанные, начертанные и т.д.) и термин «types» для знаков (см.: *Тондл Л. Проблемы семантики. М.: Прогресс, 1975. С. 67. Примечание в сновке*).

⁸ Протосинтаксисом Куайн называет простейшую синтаксическую систему, образующую остов любого синтаксиса (вспомним, что задать синтаксис значит задать алфавит (систему исходных символов) и правила образования формул из этих символов).

Куайн по сути дела доказывает следующую простенькую теорему: если в составе протосинтаксиса есть выражение \hat{xy} , то в нем возникает внутреннее противоречие. Действительно, пусть

$$x = \{M, M, M, \dots\},$$

$$y = \{M, M, M, \dots\}.$$

Возможно, в тексте пара MM никогда не встречается, а встречаются другие цепочки символов. Тогда \hat{xy} – пустое множество. Оно тождественно всякому другому пустому множеству. Таким пустым множеством может быть, например, \hat{zy} , где $z = \{K, K, K, \dots\}$ и $K \neq M$, если комбинация KM тоже нигде не встречается. Но, по закону протосинтаксиса, если $\hat{xy} = \hat{zy}$, то $x = z$, следовательно, $M = K$, что противоречит выбору K .

⁹ Поясним содержание последних четырех абзацев. Только экстремистский номинализм, имеющий дело исключительно с единичными предметами и избегающий какой-либо ассоциации с общими сущностями, позволяет указать определенный универсум протосинтаксиса. Этим универсумом будут начертанные на бумаге знаки, причем каждый знак сугубо индивидуален (например, два y в только что прочитанном Вами слове *сугубо* – два разных значка, а два y в его заковыченном имени – еще два). Однако подход экстремистского номинализма ведет к бессмыслице (об этом говорит сформулированная в примечании 8 теорема). Приходится допускать, оставаясь номиналистом, минимальную общность. Но это уже ведет к двум (как минимум) универсумам протосинтаксиса. Один из этих универсумов состоит из последовательностей знаков, а другой – из знаков, пронумерованных гёделевскими номерами. Выбрав второй из них как более простой, мы, однако, не достигаем ка-

кой-либо однозначности. Дело здесь хотя бы в том, что само понятие натурального числа эксплицируется по-разному.

¹⁰ «Слово называется универсальным, – пишет Карнап, – если оно выражает свойство (или отношение), которое аналитически принадлежит всем объектам рода, причем два объекта приписываются одному и тому же роду, если их обозначения (*designations*) принадлежат тому же синтаксическому роду» (*Carnap R. The Logical Syntax of Language. 1937. P. 293*). Позже в концепции языковых каркасов аналогичные функции стали выполнять онтологии, диктуемые аналитическими предложениями, составляющими эти каркасы.